

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Погода изменилась быстро, как и положение на фронте. Еще вчера ласкало долгожданным теплом неяркое февральское солнце, улыбаясь застывшей земле сквозь рваные белесые облака, торопливо бегущие куда-то к югу по бездонно-синему небу. На солнечной стороне искрились хрусткие сосульки. Все вокруг дышало ожиданием весны, и, казалось, еще неделю-другую постоит такая погодка, да и начнется раннее пробуждение природы. Но так только казалось. К вечеру повалил снег. Крупные хлопья медленно опускались на повлажневшие кусты, деревья, на поляны, на озеро, что приютилось в глухомани леса. Снег валил и валил, словно густой марлей покрывая рваные раны, нанесенные человеком мирной природе, забеливая поспешные следы от колес, полозьев, больших и малых воронок, широких танковых траков да и простых людских обувок, словно спеша навести должный порядок.

К утру, вернее, к хмурому рассвету неожиданно подул льдистый, холодный ветер, разогнал тучи, намел сугробы, и зима-лиходейка опять захозяйничала по всей округе, словно спешила закрепить свои позиции. А у берега озера, на старой осине, вершина которой срезана осколком, примостилась озябшая синица. Белошекая,

с длинным черным галстучком на желтой груди. Сверху ей многое видно. Даже сумела разглядеть, как издалека весна приближается. И робко запела: «Зин-зи-вер! Зин-зи-вер! Зиме конец!»

На другом конце озера, на покатом склоне, еще недавно ютилась небольшая деревня. Она была начисто сожжена еще в первый год войны наступавшими гитлеровцами, и уцелевшие люди ушли в леса, покинули пепелища. Лишь остались сиротливо торчать почерневшие от сажи и копоти остовы широких крестьянских печек, сложенных из камня и красного кирпича, да высокий колодезный журавель над старым темным срубом уныло задрал длинную жердь в холодное небо.

Война снова прошла по этому месту, нанося раны земле и природе. Гитлеровцы не удержались и здесь, хотя в спешном порядке и соорудили укрепленные узлы, нарыли окопы, навтыкали кольев, опоясались рядами колючей проволоки. Ничего не помогло фашистам. Многие полегли здесь, на этой чужой им земле. А оставшиеся в живых, отступая, в ярости сожгли две последние, чудом сохранившиеся неказистые избы и, таким образом, начисто разрушили деревеньку.

Но едва затихли боевые действия, из глухой лесной чащобы, окруженной болотами, вернулись уцелевшие жители деревни. Их было немного, старух, женщин да детей, но они вернулись к себе домой, на родную землю, по которой соскучились за годы оккупации. Они сразу сердцем поверили в полное освобождение от врагов, надрываясь из последних сил, перевезли на санках из лесных землянок свои немудреные пожитки, привели и пегую хромую корову да лохматую рыжую дворнягу. Собака то настороженно принюхивалась, то с веселым лаем носилась по пепелищам, узнавая и не узнавая знакомые места.

Вчерашний снегопад хоть выбелил и принарядил разрушенную деревеньку, но не мог скрыть страшные следы войны. То там, то здесь, возле почерневших сиротливых печных труб, навечно забуксовав в снегу, стыли темные железные туши поверженных немецких танков и бронетранспортеров. Два из них еще негусто удушливо чадили в синее утреннее небо, тихо догорая. Разбитая тяжелая грузовая машина лежала на боку без передних колес, с изуродованным, развороченным мотором. Из-под кабины расплылись и застыли сгустки бурой крови и машинного масла. Повсюду видны припудренные снегом воронки, комья стылой земли, раскиданные взрывами. Плетни и редкие жерди заборов поломаны танками, побиты снарядами. А по огородам, что спускались к озеру, темнела обнаженная земля, схваченная морозом. На ней видны грядки, полоски прошлых посадок и редкие капустные кочерыжки, картофельная ботва. Пиками торчали стебли подсолнуха. Жирные, отяжелевшие вороны нехотя отлетали с недовольным карканьем от шустрой дворняги, которая с веселым лаем гонялась за ними по пепелищам, и, взлетев, черными лохмами лениво кружили над деревенькой, над озером и мгlistым лесом.

Из обжитых блиндажей и землянок, словно из-под земли, потянулись вверх белесые струйки домашнего дыма. После двухлетнего перерыва деревенька, словно воскреснув, снова ожила. Люди поддерживали огонь в очагах, печурках, грелись возле них, дышали теплом, готовили еду, кипятили воду, стирали бойцам портянки и гимнастерки, печалились, радовались и думали о завтрашнем дне.

На дороге, что пролегала через деревеньку, ломаной линией стояли «тридцатьчетверки», крашенные для зимней маскировки белой краской. Танкисты, пользуясь краткой передышкой, придирчиво осматривали,

проверяли каждый узел, каждый агрегат. Жизнь этих людей связана с жизнью машины. В бою малейшая оплошность, пустячная неполадка может обернуться гибелью экипажа. Гулко бухали кувалды. Деловито постукивали молотки. Кто-то прогревал мотор, и от танка шел ровный басовитый гул.

А на другом конце деревушки, за линией разрушенных немецких окопов, местные женщины грели баньку для «танкистов-соколиков». Банька чудом уцелела в том огненном смерче, который дважды пронесся по этой земле. Она была старая, срубленная еще в прошлом веке, приземистая, покосившаяся на один бок, с подслеповатым окошком, прокопченная до густой черноты. Топилась она по-черному, с каменкой. Бабка Матрена, сухощавая и юркая не по годам, распорядилась на правах хозяйки, и ее беспрекословно слушались две моложавые женщины. Баньку вымыли, вычистили, разбитое окошко заткнули тряпьем из немецких мундиров, а дверной проем в предбаннике занавесили куском брезента от палатки.

Бабка Матрена удивленно охнула, а за нею всплеснули руками и ее помощницы, когда молоденький «танковый соколик», чья грозная машина стояла поблизости, стянул с головы меховой шлем. Под шлемом оказались явно не мужские по длине своей волосы, хотя и подстриженные довольно ловко. А когда «танкист-соколик» растегнул ремень и снял замасленный короткий полушубок, то под гимнастеркой, на которой сияла боевая медаль, явно обозначились груди.

— Так это ж что ж получается, а?.. Ты, выходит, самая разная баба... девка то есть? — спросила шепотом бабка Матрена.

— Ага, бабушка, — согласно кивнула Мингашева, растегивая ворот гимнастерки.

— Танкист нашего бабьего сословия?

— Ага, бабушка.

— И воюешь?

— Воюю, бабушка.

— И давно?

— С позапрошлого лета.

— А не страшно? В танке не страшно сидеть, когда пушка ухает?

— Не, не страшно. Привыкла уже. А первый раз, когда в бой пошли, ух как жутко было! Мурашки по спине забегали, и сердце заохлодело, прямо замерло от страха, — призналась Галя Мингашева, снимая сапоги. — Потом пообвыкла.

— А кем же ты будешь в танке, ежели это не секрет военный?

— Механик-водитель я, веду машину.

— Погоди, погоди. — Бабка Матрена настороженно поглядела на Мингашеву. — Как это сразу и механик ты, и водитель, а? У нас вона в МТСе тож были и механики, и водители. Так механики, которые по ремонту, а водители — энти руль крутили. Кто ж ты на самом-то деле будешь?

— Механик-водитель — это воинское название такое. А я совсем не механик, не ремонтник, а только рычагами двигаю, управляю танком, вожу его, понимаете? Как тракторист!

— Ну, тракторист на тракторе человек заглавный. Как не понимать, ясное дело. — Бабка Матрена согласно кивнула. — Выходит, и ты в танке заглавная фигура?

— Не, командир! Тот, что дрова рубит. Младший лейтенант Григорий Кульга, — с гордостью и любовью в голосе произнесла Мингашева, показывая в дверной проем на Григория, который перед банькой лихо разбивал топором немецкие снарядные ящики.

— Ладный мужик, — оценила его бабка Матрена. — Хозяйственный, видать.

— А не пристаёт? — в один голос доверчиво спросили женщины, помогавшие бабке Матрене и молчавшие до сих пор.

— Ко мне? — удивилась Мингашева.

— Ну да, а то к кому же еще! В танке-то небось еще других солдат женского полу нету.

— Не, не пристаёт, — уверенно ответила Мингашева.

— А другие?

— Не, никто. Командир не допустит, он у нас строгий. Да и я сама не позволю никому никакие ухажерские шуточки, враз отобью охоту. Рука у меня крепкая.

— А тот, который нерусский? На немчурку смахивает. А они до русских баб очень-то охочие.

— Да что вы! Все не немец, а литовец. Из Каунаса он, из Литвы. Юстасом зовут, а мы его просто по-русски Юрой назвали. У него там, в оккупации, невеста осталась.

— Да ты, дочка, раздевайся, раздевайся и шастай в горячий дух, прогрей косточки, — по-матерински заботливо говорила бабка Матрена. — А наши бабы исподнее твое мигом простирают и по-скорому высушат утюгами. Мы ж люди партизанские, в лесу живем, пообвыкли к страхам и опасностям, все теперь по-быстрому делаем, не то что в довоенное время. Натерпелись мы тут, намучились, настрадались... Ведрами слезы понавыплакали. Уж как мы вас, родных спасителей наших, ждали, как ждали!

А немчурка проклятая зверски хозяйничала, побили много наших хороших людей. Ох, побили... Но и партизаны наши давали им жару. У наших даже настоящая пушка была. Старик мой еще в ту германскую войну

при орудиях выслужился, хотя и серьезное ранение в ногу получил. Так он сейчас у партизан за главного пушкря, — похвасталась как бы между прочим бабка Матрена. — А ты смелее, смелее, дочка! Поддай парку-то. Плесни на камни, вон из ковшика, вода там духовитая, на лесных травах настоенная. Пользительная для нашего бабьего тела.

Галия чувствовала себя наверху блаженства, хотя банька была неказистая, внизу, с пола, несло холодом, а вверху, под низким темным деревянным потолком, нечем было дышать от жаркого пара.

Последние недели танкисты вели тяжелые затяжные бои. Не то что помыться, просто умыть лицо было некогда. Насквозь пропиталась запахом солярки да пороховым угаром. А тут такая благодать! Хлестала себя мягким березовым веником, терлась мочалкой, брала из баночки самодельное жидкое мыло, торопливо мылилась, плескала на горячие камни настоенную душистую воду и снова блаженствовала всем нутром и чувствовала, как сходит с нее не грязь, а сползает толстая шершавая кожура, потом просоленная, гарью пропитанная, а из-под кожуры той обнажается молодое, светлое тело, и наливается она силой женской и здоровьем, и душа расцветает, петь хочется, жить хочется и любить своего единственного и дорогого сердцу младшего лейтенанта!

А время бежало за секундной стрелкой, отмерявшей минуты жизни на маленьких ручных часиках, которые она положила на лавку рядом с другими своими ценными вещами и документами. И мозг Галии, уже привыкший к строгости распорядка военной жизни, спешил приглушить блаженство души и сердца, слал приказ рукам, заставляя их двигаться, обмывать распаренное тело, чтобы побыстрее закончить и дать возможность другим насладиться радостью обновления.

Григорий Кульга не был рад этой передышке, короткому антракту между боевыми действиями, хотя понимал, что передышка нужна и усталому до изнеможения телу, и особенно боевой машине. Насчет машины он знал точно. Последние дни она двигалась буквально на нервах и злости экипажа, выдерживая чудом всякие недопустимые уставами и наставлениями перегрузки, как люди, которые последние три недели вели один сплошной, нескончаемый наступательный бой, прогрызая километр за километром глубоко эшелонированную оборону врага на ленинградской земле. Кульга давно чувствовал и понимал, чутко прислушиваясь к напряженной работе «сердца» танка, что мотор тянет из последних своих железных сил, надрываясь в изнеможении, и что надо дать ему краткую передышку, вызвать «скорую помощь» из полковой технической службы, подлечить.

Видел он, что и Галия Мингашева беспокоится, хотя она человек привыкший: на Урале, у себя дома, на испытаниях боевых машин специально старалась создавать всяческие перегрузки, заставить машину жить на пределе, чтобы лучше определить ее боевые качества и потом дать рекомендации фронтовикам. Но за последние дни боев и Галия часто стала хмуриться, тревожно удивляясь, как это «сердце» машины выдерживает и тянет, не сбиваясь с положенного ритма. Видать, на Урале, делая этот именной танк, постарались друзья-комсомольцы, добросовестно подгоняя деталь к детали, крепкие наложив сварочные швы и подобрав живучий дизельный мотор. Впрочем, танк их не лучше иных других, ничем он особенно не отличается. Просто сделан он из доброй уральской стали, круто сваренной, в которую для прочности и силы, помимо всяких нужных ком-

понентов, уральцы добавили и жгучую ненависть к захватчикам, и светлую любовь к родной русской земле.

Да, конечно, мотор и весь танк в целом требовали передышки. И тело требовало, экипаж едва держался, выбиваясь из последних сил. Но душа Григория рвалась вперед. Только вперед! Двигаться, двигаться без остановки и без передышки, давя гусеницами, сшибая стальной грудью, кромсая броней, уничтожая огневой мощью заклятых врагов, самоуверенных, самодовольных до помрачения ума прошлыми победами над беззащитными народами и принесящих в наш край смерть и горе. О, как ждал Григорий этого грозного часа начала расплаты, начала полного разрыва блокады и начала изгнания захватчиков с ленинградской земли! И вот они наконец наступили, эти дни, неотвратимые и желанные, страшные в своем неимоверном напряжении и такие радостные для сердца. Наступил, как считал Григорий, последний, третий, завершающий раунд великого поединка. Но враг, еще не поверженный окончательно, еще не сломленный, яростно огрызался, цепляясь за каждый сотворенный им узел обороны, отвечал огнем и смертью, но не мог устоять, выдюжить, как мы в памятном сорок первом, и начал откатываться. И в том отступлении виделась Григорию рассветная заря будущего светлого дня победы. Пусть до нее еще далеко, но она уже видна. Видна в том, что наши части движутся вперед.

У Григория Кульги свои счета с захватчиками. Он рубил топором, разбивал немецкие снарядные ящики, складывал горкой пахнущие смолистым духом щепки, которые тут же относили в баньку, смотрел на них и улыбался, думая свою радостную думу. Позавчера освободили город Лугу. А отсюда рукой подать до Струг Красных. Милые его сердцу Струги Красные! Сколько раз они снились ему за долгие годы войны! Даже не верилось, что ему выпадет такое солдатское

счастье — воевать на этом направлении. Освободить близкую сердцу землю, знакомые и памятные места, где до войны начинал он свою службу, обучался управлять тяжелой и грозной боевой машиной, где тренировался в спортивном зале, отрабатывая на кожаных мешках комбинации боксерских приемов и серий. Как давно, как недавно это было в его жизни! Где они, его друзья-товарищи по сборной команде боксеров, кто из них уцелел в огненном вихре войны? Где они, его товарищи-однополчане, уцелели ли, выжили, на каком участке фронта сражаются? А командиры-наставники? Старший лейтенант Черкасов погиб в сорок первом в танковом бою на подступах к Пскову, где наши танки приняли неравный бой, преградив путь немецким боевым машинам. Капитан Сорокин стал подполковником, потерял руку, служит военпредом на Уральском танковом заводе... А остальные? Разметала всех военная судьба. И Кульге она нелегкая досталась. Сколько пришлось перенести невзгод — перенес. Сколько пришлось выдержать боев — выдержал. И в танке горел, и по льду озера переводил тяжелую машину, и подбивали, и из окружения выходил, и был ранен не раз, и наградами его не обходили, и звание младшего лейтенанта присвоили. Все было в его судьбе. Но главное — выжил, уцелел. И вот он здесь, на ставшей родной и близкой ленинградской земле, в тех же самых памятных местах, где начал войну. И впереди — Струги Красные... Эх, как же они тогда сплеховали, в те полынно-горькие первые месяцы, неумело воюя! Сейчас бы они иначе себя повели, похлеще давали бы сдачи. Конечно, только бы с нынешней боевой техникой. Той самой, сегодняшней, которой тогда, в те печальные дни, так ощутимо, до жуткости не хватало. Страшно вспомнить. А может быть, немцы тогда, два года назад, были другие, покрепче нынешних? Это как

сказать. Нынешние, они тоже не размазни, палец в рот не клади, отхватят с рукой. Жаркий конец зимы получился, огневое пекло с морозом. А в сердце — весна. А впереди — Струги Красные, а там и Псков, и за ним Прибалтика, а далее сама Германия... Далековато до нее, окаянной, но ничего, одолеем километры, дойдем. Раз начали, обязательно дойдем! Такой уж есть русский человек, остановить его, если разойдется, никакому другому народу не удастся.

И, как бы ставя точку своим мыслям, Григорий одним ударом топора разрубил толстую корягу. Та обнажила свое покрасневшее нутро. Григорий улыбнулся, радуясь ловкому удару. Хорошо! Еще одну сейчас раскокает для полного порядка. Но не успел. К баньке спешил стрелок-радист Юстас Бимбурас:

— Товарищ командир! Товарищ командир!

Юстас парень толковый. В бою не горячится, выдержку имеет. И рация у него всегда в полном порядке. В Ленинграде учился, студент. Правда, всего один курс довелось окончить — война помешала. Эвакуировали его вместе с институтом, а он в тылу не усидел, обучился на радиста и пошел добровольцем. У него тоже свои счета с немцами.

— Товарищ командир, «летучка» прикатила!

Техническую службу ожидали с ночи, когда прибыли в эту деревушку на краткий отдых. Но, видать, ремонтники в соседнем батальоне подзадержались. Григорий отложил топор. Крикнул за полог брезента, закрывавшего дверной проем, откуда пахнуло жарким паром:

— Галя, кончай! «Летучка» приехала!

— Я сейчас, по-быстрому, — отозвалась Мингашева. — А ты сам?

— Потом, — отмахнулся Кульга и поспешил за Юстасом, который широкими шагами торопился к «летучке» — грузовику с фанерной будкой на весь кузов.

Ремонтники из подвижной танкоремонтной мастерской знали свое дело. С виду они вроде бы и не спешили, а на самом-то деле не теряли зря и минуты. Как врачи, делали обход боевых машин. Подкатят напрямик к «тридцатьчетверке» — и вот уже слышно, как деловито застучали молотки, заклацало железо. Ремонтники деловито оказывали помощь каждой машине. На одной исправили неполадки, «заштопали» раны, на другой заменили детали, третью снабдили запасными частями. А специалист по дизельным моторам сержант Чукин, человек длинный и тощий, в роговых очках на худом лице, словно врач, внимательно осматривал и выслушивал «сердце» каждой «тридцатьчетверки».

Авторитет у Чукина высок. Редко кто усомнится в его диагнозе. Если сказал Чукин — делай, как он велел. Мастер с большим опытом. И многие танки живы именно благодаря Чукину, который быстро вернул их в строй.

Когда подошел черед осматривать «тридцатьчетверку» Кульги, механик-водитель Галия Мингашева была уже на своем месте, стояла около танка рядом с командиром. Правда, нижнее белье надеть не успела, его только постирали и спешно сушили горячими утюгами. Но верхняя одежда была на ней по всей форме. Только из-под шлема выбилась прядка влажных волос.

Кульга, поприветствовав техника-лейтенанта, высказал свои просьбы и пожелания. Из «летучки» проворно выскочили два парня, лет по шестнадцати, у них на темных форменных ватных куртках синели петлицы ремесленного училища. Следом за ними, держась за скобу, по ступенькам сошел и «бог моторов» Чукин.

— Здравия желаю, — хрипло приветствовал он Кульгу и весь экипаж. С Мингашевой поздоровался отдельно, за руку: — Ну, красавица, как воюется?

Чукин знал, что Мингашева была на военном танковом заводе испытателем машин, и относился к ней уважительно и по-отцовски заботливо. Ставил ее в пример другим, повторяя, что Мингашева хоть и девка, а мотор понимает, нутром чувствует, не запарит его, не перегрузит понапрасну, следит за ним с любовью и лаской, дай бог каждому другому.

— Ну, что у тебя? — устало спросил Чукин, заглядывая через стекла очков в моторное отделение.

Мингашева видела, что у старого механика глаза в красных прожилках, лицо землистого цвета, морщины изрезали щеки. Затяжная усталость, бесконечная работа без отдыха и сна. Ей стало жаль этого пожилого и доброго человека. Не хотелось его ничем тревожить, взваливать на него новую заботу. Но так думала она лишь какое-то мгновение, потом взяла себя в руки. Мотор есть мотор, и она своими силами ничего сделать не может. Нужна помощь ремонтников. И вслух перечислила свои соображения, называя детали машинного «сердца», на которые в первую очередь надо обратить внимание.

— Заведи, — велел Чукин, — послушаем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Марина Рубцова не смогла отказаться от приглашения приятельницы «посидеть у камина и выпить чашечку кофе». Она дважды вежливо отказалась, как принято у бельгийцев, сославшись на вечную занятость женщины, зная, что за приглашением кроется целый ритуал, утвердившийся в этой стране. Ни в коем случае, если даже вы и желаете принять приглашение, нельзя сразу же отвечать, как везде принято: «С большим удовольствием». Нужна выдержка, благородный отказ, ибо в противном случае можно сразу же потерять многое в глазах знакомых. Следуя этому общепринятому среди бельгийцев «хорошему тону», Марина и в третий раз отказалась, ласково проговорив в телефонную трубку:

— Я вам очень признательна, мадам Ван дер Графт, очень признательна, но, право же, не стоит затрудняться...

С Ивонной Ван дер Графт она познакомилась месяц назад в антверпенском зоопарке. Зоопарк крупнейший в стране, и антверпенцы по праву гордятся им. Здесь всегда, в любое время года, многолюдно. Приходят целыми семьями. Простаивают часами возле любимых животных, которых называют «своими». В зоопарке много редчайших птиц и зверей, особенно представи-

телей африканской фауны: бельгийские колонии в Африке весьма обширны и богаты.

Марине Рубцовой приглянулся обыкновенный российский бурый медведь, родной косолапый, неуклюжий мишка, доверчивый и ласковый, хотя на табличке о нем было предостерегающе указано, что это «грозный и хищный хозяин сибирской тайги». Марина приносила своему мишке сладости, и тот, склонив голову набок, ласково смотрел на нее, протягивая сквозь прутья решетки мохнатую лапу с жесткой мозолистой, темной до синевы ладошкой и со сломанными когтями на двух первых пальцах. Заполучив сладости, мишка тут же отправлял их в рот, жевал и в знак благодарности наклонялся, кивая головой. Забавно так кланялся. И смотрел прямо в глаза. Тоскливо смотрел. У Марины замирало что-то под сердцем. Ей казалось, что косолапый узнавал ее, свою соотечественницу, и тоскливо ждал от нее родного русского слова. И у нее замирали на кончике языка простые и родные русские фразы, готовые сорваться.

Марина незаметно привязалась к бурому медведю. Чуть ли не каждую неделю приходила она в зоопарк. Косолапый был живой частицей далекой родины. Он казался ей близким и родным существом. Глядя на мишку, она мысленно переносилась в Москву, на Цветной бульвар, в столичный цирк, в котором часто бывала и видела точно таких же медведей, смеялась и хлопала в ладоши, когда мишки, получив сладости, неуклюже кланялись зрителям, кивая головами...

Возле клетки редко кто останавливался, ибо бурый медведь ничем особенно не выделялся, был рядовым обитателем крупного зоопарка и, естественно, не мог соперничать ни с полосатыми красавцами тиграми, ни с гривастыми львами, привезенными сюда из джунглей Африки и далекой Индии. Марине казалось, что она одна понимает косолапого и он по-своему, по-звери-

ному, предан ей. Но каково же было ее разочарование, когда однажды она увидела, что возле клетки бурого медведя стоит высокая блондинка средних лет в модном сером плаще, дает мишке конфеты, и тот, встав на задние лапы, принимает сладости, сует их прямо в обертках в свою пасть и, склонив голову, почтительно кланяется.

Блондинка приходила еще и еще, Марина невольно встречалась с ней у клетки медведя. Сначала они обменивались взглядами, как бы приветствуя друг друга, потом, незаметно привыкнув, стали более общительными. Иногда блондинка приводила в зоопарк мальчика лет шести, живого и порывистого. Бурый медведь ему нравился, и он смело клал зверю в лапу конфеты и при этом озорно смеялся, веснушки на его лице светились рыжими золотинками. Мальчика звали Шарль, Марине было приятно гладить его по курчавой светлой голове, чувствуя под пальцами шелковистые волосы. Женщины незаметно сблизилась.

У Марины не было в большом и многолюдном Антверпене ни одного близкого человека, она жила по строгим законам конспирации, держалась со всеми ровно и на дистанции, почтительно-холодно, жила, как улитка, замкнувшись в своей мебелированной квартире, ничем не интересуясь и не увлекаясь, сторонясь и мужчин, и женщин. Избрав однажды себе такую роль, она и придерживалась ее, не отступая от принятого стандарта ни на йоту. Так было удобнее и для жизни в чужом мире, и для ее опасной работы. Это Марина хорошо усвоила на своем личном опыте за годы жизни вдали от родины. Чем меньше знакомых, тем меньше шансов на провал. Знакомство располагает к дружбе, к близости, к откровенности, а это именно и опасно, ибо в такие минуты человек на какое-то мгновение может забыть о своей роли, забыть об осторожности, случайно про-

говориться, выдать себя какой-нибудь незначительной мелочью. И Марина, общительная по натуре, держала себя, как она сама говорила, в «крепкой узде», помня напутствие: «Разведчик бережет себя сам».

А у медвежьей клетки Марина сделала отступление от своего правила, от своей заповеди, пошла на контакт с совершенно незнакомым ей человеком. Дома, обдумывая прожитый день, Марина корила себя за несдержанность. Ей не следовало бы заводить знакомства, хотя она и понимала, что Ивонна Ван дер Графт, так звали блондинку, никакой, в сущности, опасности представлять не может, что она такая же одинокая женщина, только еще и с ребенком, а муж ее служит где-то в далекой африканской колонии, которая не занята немцами, и по этой вполне понятной причине он еще долгое время, до изгнания оккупантов из Бельгии, не появится в Антверпене.

В лице Ивонны Ван дер Графт она встретила, как иногда принято говорить, родственную душу. Женщины потянулись друг к другу. Нашлись общие темы для разговоров. Впрочем, им не так уж были и нужны эти темы, скорее, наоборот, важно было просто встретить сочувствие и понимание со стороны другого человека и тем самым хоть как-то утвердиться в своих собственных глазах.

Марина уже давно ощущала свое глухое одиночество. И подспудно подкрадывался страх за будущее. Марина просыпалась среди ночи от малейшего постороннего звука, долго не могла уснуть, затаившись, лежала с открытыми глазами и тревожно вслушивалась в гулкую тишину, ожидая резких и звучных — у гестаповцев всегда хорошая обувь, с подковками на каблуках — шагов на лестнице, требовательного стука в дверь. И рукой лезла под подушку, как бы проверяя, на месте ли ее оружие, маленький пистолет, и ладонью

грела никелированную рукоятку. Этот бельгийский «браунинг» ей подарил Андрей, тот самый, который привез ее сюда из Брюсселя, доставил ей рацию. Одним словом, вернул к жизни из небытия. Он же, как она догадывалась, присылал ей деньги на жизнь, оплачивал квартиру, хотя больше она ни разу не видела русского Андре. Но во всей ее жизни чувствовалась его властная командирская рука. Он дирижировал ее нелегкой «игрой», помогая вжиться в новую обстановку, в новую роль. Андрей вывел ее и на нашего боксера, и у Марины изболелось сердце, потому что она, сама не зная как, вдруг стала даже понимать этот самый бокс, о котором еще не так давно думать не думала и смотрела на него не как на спорт, а как на тупую, грубую драку, разрешенную законной властью на потеху толпе. Марина теперь переживала каждый поединок Игоря Миклашевского, который, на ее счастье, одолевал своих грозных соперников и оказывался победителем. И она радовалась его успехам на ринге, как радовалась победным вестям с Восточного фронта, где наша армия, громя фашистов, уже выходила к государственной границе, подходила к Германии, катясь неумолимой огненной волной возмездия. Близился победный конец войны. И она, Марина Рубцова, приближала день великого торжества, посылая в эфир, в Центр, шифрованные радиogramмы.

А осенью вдруг все оборвалось, как будто бы кто-то невидимый одним махом обрезал все нити, связывавшие Марину с ее товарищами по работе. Перестали поступать донесения. Шло время, а тайник оставался пустым, и в запасном ничего не лежало. Перестали приходить денежные переводы. А потом исчез и боксер. Как в воду канул. Исчез внезапно, без следа. Словно его в Бельгии никогда и не было. Старые афиши посрывали, а на их место наклеили новые, с другими фамилиями. Но она уже не ходила на эти боксерские матчи, хотя пы-

талась себя заставить пойти. Она стала бояться бокса. Ибо он у нее отнял, поглотил Миклашевского. А может быть, и не он, вернее всего, что не он, но так или иначе, а внезапное исчезновение Игоря прямо или косвенно было связано с этим самым боксом. Дыхание войны доносилось и сюда, в довольно сносную и сытую бельгийскую жизнь. Ганса убили у нее на глазах, и Марину спасла чистая случайность. Вальтер погиб, защищаясь до последнего патрона, дав ей возможность не только отстучать шифровку, разбить рацию, но и спастись. Она не видела, как он погиб, и не хотелось верить словам Андре, что Вальтера наградили орденом посмертно. А теперь исчез боксер, третий человек, связанный с ней по работе. И она снова одна. Без связи, без своих. И почти без средств. На запросы в Центр приходил один и тот же короткий, односложный ответ: «Ждите». А сколько времени ждать? Неделю, месяц? На эти вопросы никто ей не мог дать ответа. Если надо ждать, она будет ждать, чего бы ей это ни стоило. Только где-то под сердцем у нее поселился страх. Лишь случайное знакомство с Ивонной Ван дер Графт, беседы и встречи в зоопарке в какой-то мере хоть немного снимали постоянную напряженность. С Ивонной ей было легко, как с подругой.

Но от приглашения выпить чашечку кофе Марина отказалась, вернее, делала все возможное, чтобы отказаться от посещения дома Ван дер Графтов, расположенного где-то на окраине города, но отказаться так, чтобы и соблюсти принятые нормы вежливости, и не охладить установившиеся между ними дружественные отношения. Марине, честно говоря, нравилось быть в обществе Ивонны, беседовать с ней, этой образованной и умной женщиной. Да и с ее белокурым мальчуганом Шарлем у Марины, мечтавшей о своих будущих детях, завязалась самая настоящая дружба.

— А Шарль вас так ждет, так ждет, — произнесла Ивонна Ван дер Графт, добавляя, что на этот приятный вечер у нее имеется натуральный кофе в зернах, а не суррогат, да еще и круг настоящей деревенской колбасы.

Марине ничего другого не оставалось, как, высказав благодарность, принять приглашение.

— Но я приду только на одну минуточку, и, пожалуйста, ничем не стесняйте себя, ничего не готовьте!

2

Дом, вернее, вилла Ван дер Графтов находилась не на краю города, а в пригороде, в той южной стороне, где много зеленых насаждений, напоминающих естественные кусочки леса, некогда росшего здесь по всей округе. Сейчас это были ухоженные зеленые массивы, расчлененные линиями заборов, прорезанные асфальтовыми дорогами, по бокам которых возвышались двух-трехэтажные строения, близкие чем-то между собой в общих чертах и размерах, но разные по замысловатым фасадам, формам крыш, всевозможным вариациям с окнами и дверьми, крылечками, парадными лестницами, цветными и белыми стеклами, сложенные из разных по цвету кирпичей — красных, желтых, белесо-серых, темно-коричневых...

Далеко отсюда льется на фронтах кровь, а здесь летом благоухают цветы на клумбах, ласкают глаз подстриженные газоны, поют птички, а зимой — расчищен снег, цветы укрыты, кусты подстрижены. Здесь войны не чувствовалось.

Вилла Ван дер Графтов была построена под старину, уже входившую в моду. У калитки висел старый уличный фонарь со вставленной внутри электрической лампочкой, возле ворот лежали, вернее, были прислонены

к бетонным столбикам, отлитым в виде древесных стволов и окрашенных в буро-зеленый цвет, два больших, массивных, окованных толстыми обручами колеса от крупной старинной повозки. За калиткой начиналась дорожка, выложенная настоящим булыжником, которая вела к вилле, сложенной из красного кирпича, фасад выдержан в строгих пропорциях старинного дома, над черепичной крышей гордо вздымался выкованный из железа петух. Дорожка вела и дальше вокруг дома, к гаражу, амбару, крытым соломой, за ними росли садовые деревья, дальше, вроде декораций на сцене, вставляли темно-зеленые ели, и между ними, как белые черточки, тянулись серебристые березки.

Марина с цветами для хозяйки и коробкой конфет для сына пришла с опозданием. Ивонна в однотонном нарядном платье, поверх которого кокетливо повязан ажурный передничек, встретила гостью обворожительной улыбкой:

— Как я рада видеть вас в нашей деревенской обители!

— А я чуть было не прошла мимо этого рыцарского замка, и только название улицы и номер на калитке заставили меня войти внутрь усадьбы, — ответила Марина, как бы принимая условия игры и отдавая дань восхищения внешнему облику виллы.

— Вам нравится?

— Очень!.. — призналась Марина искренне. — Здесь так чудесно! Такой свежий воздух, не то что в дымном городе. Особенно сейчас, в зимние месяцы, когда в каждой квартире жгут уголь, и дым, представляете, висит над крышами настоящей тучей. Здесь у вас не дышишь, а буквально пьешь чистый лесной воздух.

— Если вы не очень утомились дорогой, то, может быть, мы сначала прогуляемся по нашей усадьбе? — предложила Ивонна, довольная искренним восхище-

нием гости. — Только, пожалуйста, не обращайтесь внимания на хозяйственные неполадки, я здесь одна, живу третий год без мужа. А при нем здесь все блестело, всюду был полный порядок.

Вдвоем они обошли просторный участок, все осмотрели. Марине все понравилось, она это и высказала вслух. Ивонна с нескрываемой гордостью называла возраст и сорта фруктовых деревьев, словно она сама все это высаживала и за всем ухаживала своими холеными руками. Кусты подстрижены, крепенькие деревья аккуратно подбелены, трава на лужайке перед домом, чуть припорошенная снежком, приятно ласкала взгляд влажной зеленью.

Марина смотрела на эту чужую красоту и вспоминала свою дачу под Москвой, в Голицыне. Вернее, не дачу, а дом бабушки — старый, потемневший от времени сруб, с тремя окнами на улицу. Вспоминала густой чертополох, одичавшую, запущенную малину, грядки с клубникой и разлапистые старые, с потрескавшейся корой яблони, на которые она, Марина, лихо залезала, срывая кремнисто-твердые плоды, кислые до оскомины, но почему-то казавшиеся удивительно вкусными. Почему-то сейчас вспомнилось, что в ту предвоенную весну, когда последний раз Марина побывала у бабушки на даче, буйно цвели яблони и все вокруг будто плавало в бело-розовой пене. Бабушка поведала ей свой секрет урожая: она в ведре воды размешивала стакан меду и, макая туда чистый веник, обрызгивала пахучей сладковатой жидкостью цветущие деревья. «Пчелки медок издали учуют, прилетят, милые, взяток брать, а заодно и яблонькам помогут оплодотвориться, — говорила бабушка внучке. — Запоминай, милая, и без меня вот так будешь обрызгивать». Жива ли бабушка? Целы ли деревья?.. И словно бы издали донесся голос Ивонны Ван дер Графт:

— А теперь давайте зайдем в нашу виллу. Прошу вас, вот сюда, через парадный вход.

Марина смотрела на Ивонну, как бы узнавая ее. Воспоминания сразу улетучились. Марина улыбнулась, возвращаясь в свою роль.

— Как у вас тут чудесно!

— Прошу вас, дорогая, заходите.

Заходить в дом Марине почему-то не очень хотелось. Какое-то смутное предчувствие останавливало ее. Казалось, что там, внутри этого красивого особняка, рухнет все очарование, что там, внутри, ее ждет опасность. Она даже пожалела, что приняла приглашение и приехала. Предчувствие шевельнулось где-то глубоко под сердцем, игольчато кольнув холодком, заставляя быть осторожной. Или ей это только показалось? Живя в постоянном страхе, невольно видишь опасность всюду. «Трусиха я, трусиха, — мельком подумала Марина, успокаивая себя. — Всего боюсь. Скоро от собственной тени стану шарахаться». Во дворе было так хорошо, так приятно свежо. Хотелось еще немного побыть на воздухе. Но Ивонна уже открыла перед гостьей парадную дверь.

— Надеюсь, дорогая, вам понравилось у нас.

Марине действительно понравилось, если не сказать больше. Она не первый год живет за границей, казалось, должна привыкнуть ко всему. Жила и в столице, в роскошных гостиницах, снимала меблированные комнаты, познала и бедность, видела, одним словом, многое. Но в частном доме была впервые. На вилле Ван дер Графтов ей бросились в глаза не роскошь, не богатство, которые были как-то приглушены, а отшлифованная до мельчайших нюансов целесообразность каждого предмета, тонкая продуманность каждой комнаты, которые делают жизнь в таком доме приятной. И это ощущение не покидало ее все время. Она как бы открывала для

себя новый мир, такой нужный и необходимый любой женщине, мечтающей о своем гнездышке, о своей семье.

Она все обошла, осмотрела. В просторном салоне висели картины в золоченых рамах, стояли удобные кресла, обитые красной кожей, стол с витыми ножками и обрамленный белым мрамором камин. Все располагало к уюту, отдыху. В столовой — строгая мебель. Три спальни, и каждая оборудована в своем стиле. Цвет стен приятно гармонировал с цветом мебели. Широкие двуспальные кровати. Мягкие ковры. В каждой спальне имелось еще по одной двери. Второй выход? Нет, как оказалось, двери вели в ванные. У каждой спальни своя ванная комната: розовая, голубая, бледно-зеленая. Горячая и холодная вода. Зеркала, в которых можно осмотреть себя во весь рост. В продолговатых нишах — набор всевозможных ароматных жидкостей, шампуней, мазей, кремов. У Марины захватило дух. Нет, она не завидовала. Только сказала себе, что это нажито не своим трудом. И стало как-то спокойнее на душе. И все равно невольно сознавалась самой себе, что пожить в таком доме не отказалась бы. Хотя бы одну недельку.

Из детской комнаты Шарль, не отступавший от Марины ни на шаг, потащил ее вверх по лестнице на мансарду, в «папину морскую кабину». Мансарда была отделана под каюту, а может быть, под капитанскую рубку. Впереди — широкое полукруглое окно, с боков — круглые, как на корабле. На стенах — морские карты, небольшой медный колокол, штормовой фонарь, большой бинокль, за стеклом в шкафу — толстые фолианты в кожаных переплетах с золотым тиснением, крупные бело-розовые раковины, высушенные морские звезды, крабы. На вешалке — слегка поношенная непромокаемая куртка-зюйдвестка, словно хозяин, вернувшись с работы, снял ее совсем недавно со своего плеча.

— Вы, наверное, проголодались, идемте скорее на кухню, — сказала Ивонна. — В мое царство.

— Что вы, я совсем не голодна, я хорошо пообедала. Но взглянуть на кухню не откажусь.

В кухне имелись все те предметы, которые Марина видела в универсальных магазинах, — навесные шкафы, разделочные столы, сушилки для посуды. Белоснежная газовая плита с блестящими ручками, духовым шкафом со стеклянной дверцей, сквозь которую можно видеть, как печется пирог, и следить за термометром, стрелка которого показывает температуру внутри. Ярко раскрашенная эмалированная кухонная утварь: кастрюли и кастрюльки, сковородки, тазы, миски... Одним словом, хозяйка кухни владела целым богатством. В универсальном магазине Марина около этих предметов не задерживалась, потому что цены на них были, как она считала, «безбожными».

Марину привлекла полка, на которой стояли шеренгой фарфоровые горшочки, расписанные цветочками и сердечками, в которых хранились различные пряности и специи, о чем можно было судить по надписям. С нескрываемым восхищением она смотрела на горшочки и следила, как Ивонна, словно жонглируя ими, брала то один, то другой, открывала крышечку, доставала ложечкой содержимое, подмешивая в соус, который готовился на плите и распространял такой аромат, что текли слюнки.

К удивлению Марины, сынишка Ивонны не обращал никакого внимания на вкусные запахи, с аппетитом съел свою простую детскую еду, запил стаканом молока с «пистолетом» — так он назвал белую хрустящую булочку, которую, как знала Марина, едят обычно по воскресеньям в домашнем кругу за чашкой кофе, вернувшись из костела. И, попрощавшись, удалился в свою комнату, чтобы приготовиться ко сну.

— Шарль растет настоящим мужчиной, — с гордостью сказала Ивонна.

— Он у вас прелесть, — ответила Марина, думая о поведении мальчика: «Что это — дисциплина или воспитание? Покорность или обычная норма поведения?»

Ивонна включила свет над столом. На длинном шнуре с потолка свисал красный абажур, и вспыхнувшая лампочка освещала лишь центр стола, создавая вокруг полумрак, приятную интимную обстановку.

В маленьких рюмочках заалело густое сладкое вино. Поджаренная деревенская колбаса оказалась действительно очень вкусной от всевозможных специй и пряностей.

— Еще по глоточку вина, я полагаю, дорогая, вы не откажетесь?

— Благодарю вас, вино чудесное, но мне надо поспеть на девятичасовой автобус, — ответила Марина.

Ей стало не по себе. Хмель сразу вылетел из головы. Марина чуть было не чокнулась по русскому обычаю. Сама не помнит, как ей удалось удержать свою руку. А здесь лишь поднимают рюмки и никогда не сдвигают их. Как бы она оправдывалась? «Надо скорее уходить», — решила Марина.

Но Ивонна затеяла варить кофе. Зашумела электрическая кофемолка, распространяя густой сладкий аромат натурального кофе. Коричневые прожаренные зерна за прозрачным колпачком превращались в темную муку.

Весело болтая о разных пустяках, женщины выпили по чашечке кофе и по глоточку французского апельсинового ликера. Марина встала, собираясь откланяться, Ивонна искренне и удивленно спросила:

— Вы хотите оставить меня так рано?

— Через пятнадцать минут мой автобус, — возразила робко Марина.

— Не волнуйтесь, автобусы еще будут. Они ходят в город каждые полчаса. — Ивонна достала из шкафа высокую бутылку. — Отведайте и бананового ликера, его мой муж очень любит.

— Если только чуть-чуть, одну капельку, чтобы кончик языка смочить, — согласилась Марина.

После кофе Ивонна целых полчаса показывала диапозитивы, снятые еще до войны, когда она отдыхала с мужем в Италии, и Марина высказывала свое восхищение и природой, и архитектурой, и ласковым синим морем.

3

Ивонна Ван дер Графт, накинув на плечи шубку, проводила Марину до остановки. Несмотря на все возражения, она подождала вместе с Мариной рейсовый автобус, усадила гостью и поцеловала на прощание:

— Я так рада, что вы посетили мое гнездышко, скрасили мое одиночество.

— Я вам так благодарна за чудесный вечер, это был настоящий праздник для меня, — ответила искренне Марина.

Автобус тронулся, Марина прижалась к стеклу, в синих сумерках видела Ивонну, которая помахала рукой.

«В сущности, она неплохая, — решила Марина, — только не надо с ней сближаться, надо быть на дистанции».

А Ивонна Ван дер Графт, вернувшись домой, не снимая шубки, прошла в гостиную. Сняла телефонную трубку, набрала номер.

— Макс, это ты?

— Да, я, — ответил мужской голос и в свою очередь спросил: — Была?

— Да.

— Ну и как?

— В общем, ничего.

— Ничего не заметила?

— Нет. Обычная средняя женщина. Ведет себя скромно и доверительно просто. Мне кажется, что напрасно мы все это затеяли...

— Что тебе кажется, нас не интересует, — оборвал ее Макс. — У нас свои интересы к этой особе. — И добавил тоном приказа: — Продолжай укреплять связь и будь повнимательней. Нас интересуют любые мелочи.

Ивонна Ван дер Графт сотрудничала с германской службой безопасности. Ее завербовали в первые месяцы оккупации.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Сквозь гул голосов, свист и треск неожиданно и властно раздался короткий певучий звук медного гонга, извещавшего об окончании последнего раунда. Судья на ринге — седовласый, худощавый, жилистый берлинец с чуть выпуклыми глазами — громко выкрикнул «брек!» и, решительно действуя руками, разнял боксеров, расталкивая их по углам.

Смуглый, лоснящийся от пота курчавый грек, шатаясь, как пьяный, выставив вперед руки в пухлых перчатках, пересек ринг, ткнулся в свой угол и навалился всем телом на жесткую подушку. Тренер, бритый наголо, невысокий, шустрый, выдавил ему на голову всю влагу из крупной губки, макнул ее в ведро и стал обтирать боксера, что-то отрывисто выкрикивая. Лишь по мимике его можно было догадаться, что тренер явно не одобряет поведение на ринге своего подопечного.

Игорь Миклашевский, уставший, тяжело дышал, хватая раскрытым ртом воздух, стоял в своем углу и ощущал желанно ласковую прохладу мокрого мохнатого полотенца, которым Карл Бунцоль водил по шее, лицу, затылку, приговаривая: «Гут! Гут! Карошо!»

Бой сложился не очень удачно, быстрой победы, как рассчитывал Миклашевский, не получилось, хотя в первом же раунде Игорю дважды удавалось точ-

ным ударом бросить противника на брезент. Оба раза казалось, что грек не встанет, пролежит до окончания счета, но он находил в себе силы и поднимался, принимал боевую стойку, упрямо шел вперед, выставив длинные, как жерди, руки в коричневых потертых перчатках. Вести поединок с ним было очень неудобно, к тому же, как выяснилось в последующем раунде, грек был скрытым левшой, он хитро стоял в обычной левосторонней стойке и умело пользовался своим преимуществом, осыпая Миклашевского градом встречных прямых ударов левой. Лишь к последнему раунду Игорь смог к нему приспособиться, перехитрил и снова точным ударом по подбородку послал на брезент. Но и на этот раз жилистый живучий грек вскочил при счете «восемь» и, подбадриваемый выкриками из зала, яростно ринулся на русского. Игорь не успел отклониться и принял на подставленные перчатки град ударов, сблизился, вошел в ближний бой, но здесь юркий и весьма опытный соперник его опять перехитрил, пошел на клинч, обхватил Игоря, связав движения, не давая бить себя, и буквально повис на нем. Цепко держась, грек в то же время весь расслабился, заставил Миклашевского таскать его на себе по рингу, неудобного и тяжелого, как мешок с песком, пока судья их не разнял. Но это уже был конец боя.

— Зер гут! Карашо! — повторил Карл Бунцоль, обтирая влажным полотенцем грудь боксера. — Гут!

Бунцоль в общем остался доволен поединком, хотя и сложился он явно не по намеченному плану. Опытный старый мастер понимал, что главное сделано — победа достигнута и, следовательно, выход в полуфинал обеспечен.

Оставалось ждать решения судей, и они оба, Миклашевский и тренер, выжидательно следили за судьей на ринге.

Рефери некоторое время стоял в нейтральном углу, спиной к зрительному залу, который все еще продолжал глухо клокотать. Потом вынул из кармана расческу, старательно причесал волосы и после этого обошел боковых судей, принимая от них судейские записки. Рефери сам быстро прочел их, определяя победителя, хотя ему и так было ясно, что бой выиграл русский, и, перегнувшись через верхний канат ринга, протянул записки тучному краснолицему полковнику вермахта, возглавлявшему жюри боксерского турнира.

Рядом с ним за столом, накрытым плотной зеленой материей, небрежно сидели на мягких стульях с высокими спинками два человека, один — в черной эсэсовской форме с Железным крестом на груди, второй — в штатском костюме. Кто они и кого представляют, Миклашевский не знал. Слышал от Бунцоля, что тот, в штатском, крупный спортивный деятель. Карл встретил его в Берлине.

Полковник, чмокая губами, не спеша просмотрел судейские записки, показал их своим соседям, потом кивнул рефери, как бы говоря: объявляй!

Судья быстрыми шагами пересек ринг, подошел к Миклашевскому, взяв боксера за кисть, вывел на середину и рывком поднял вверх руку с перчаткой, крикнул по-немецки, путая имя и фамилию Игора:

— Победил солдат ост-легиона Иван Миклашановский!

Зал ответил одобрителем топотом, аплодисментами, выкриками, свистом, приветствуя победителя и справедливое решение судей. Бунцоль, улыбаясь публике, заботливо набросил на плечи боксера халат, обмотал шею полотенцем.

В раздевалке, тесной артистической уборной, Карл развязал тесемки, стянул с Миклашевского побитые боксерские перчатки, бросил их на узкий длинный туа-

летный столик. Перчатки сразу отразились в зеркале, словно на столике лежали две пары. Зеркало, вставленное в стену, было обрамлено красивой лепной рамкой.

Миклашевский опустил в мягкое плюшевое кресло, откинулся на спинку, устало закрыл глаза. Ничего не хотелось делать. Ни смотреть, ни разговаривать, ни двигаться. Просто не было сил. Неудачно сложившийся поединок с греческим боксером вымотал его, превратил в мочалку, и даже победа не радовала, не приносила сладкого успокоения. Игорь чувствовал, как по щекам стекали капли пота. Во рту стояла неприятная горьковатая сухость. Сейчас бы стакан воды, холодной, освежающей! Выпил бы единым махом и несколько стаканов. Но пить после боя нельзя. Надо перетерпеть. Можно лишь сполоснуть рот. А встать, подойти к крану у Игоря не было сил. Он так хорошо устроился в мягком кресле, от которого пахло какими-то сладковато-терпкими духами и еще чем-то иным, легким, воздушным, до боли знакомым с раннего детства. И на миг ему показалось, что нет никакого чужого острокрышного Лейпцига, этого оперного театра, в котором гитлеровцы организовали шумный боксерский чемпионат «всей союзной Европы», а есть только родная Москва, милый и знакомый с детства Камерный театр, и мама взяла его с собой на свою «проклятую работу», потому что мальчика не с кем оставить дома, хотя и в театре ему не место. И сидит он в мамином кресле, забравшись в него с ногами, в небольшой маминой артистической комнатке, где на диване разбросаны ее платья, на полу стоят в корзинах старые, привядшие, и свежие букеты цветов, а на туалетном столике, за которым во всю длину вставало зеркало, лежат разные таинственные мамыны флакончики, баночки, коробочки, кисточки... Он не любил эту комнату, здесь мама о нем, о своем сынишке, почти забывала, делалась другой, неразговор-

чивой, строгой, да и вся она как-то менялась у него на глазах. Надевала на голову парик, мазала лицо странными красками и, словно по волшебству, превращалась в старую-старую Бабу-ягу или становилась неловкой девушкой из деревни...

Где-то за стеной послышался знакомый шум, похожий на далекий рокот грома, его Игорь давно напряженно ждал, жадно прислушиваясь к каждому шороху за дверью. Он хорошо знал, что рокот означал конец маминой «проклятой работы», которую она почему-то любила и не желала менять ни на какую иную, чтобы жить, «как все нормальные люди», вечерами быть дома и вовремя укладывать сынишку в постель. Сейчас, после грома, послышатся знакомые торопливые шаги в коридоре, застучат каблучки, распахнется дверь, и в комнату, словно теплый ветер, влетит мама, радостно возбужденная, счастливая. Она кинется к сыну, будет его тормошить, целовать, говорить разные ласковые слова...

И в коридоре действительно послышались шаги, распахнулась дверь. Миклашевский не пошевелился, не открыл глаза. Он только вслушивался, ожидая чуда. Но чуда не произошло. В комнату вместе с вошедшим влетели чужие запахи табачного дыма и кислого пива. Живые воспоминания улетучились. Остро заныло под сердцем: как они там, в России, и мама, и жена, и его сынишка? Живы ли?

— Победил итальянец. Он — твой завтрашний противник. Чисто работает! Поймал на апперкот правой. Шаг в сторону и удар снизу в живот. Не сладко, скажу тебе. Это у него, у итальяшки, коронный такой ударчик. — В уши Игоря врывался голос Карла Бунцоля, чем-то похожий своей интонацией на голос Анатолия Генриховича Зомберга, ленинградского тренера Миклашевского.

Миклашевский посмотрел на тренера: ему надо теперь возвращаться в суровую действительность, быть не тем, кем он есть на самом деле, выполнять мамину «проклятую работу» артиста, только не на сцене, а в самой настоящей жизни, без грима, без чужих волос, без заранее выученных и отработанных фраз.

— Вставай, нечего валяться! Я тебе сейчас покажу, как этот макаронник проводит свой апперкотик. Карл Бунцоль умеет фотографировать глазами лучше любого аппарата. Ничего особенного, вроде обычный такой удар снизу. Но цепляет, как длинным крючком. Попадешься — сразу конец, даже пикнуть не успеешь. Не удар, а бронебойный снаряд!

Бунцоль, сбросив пиджак, остался в тренировочном костюме. Встал перед зеркалом в боевую позицию, подражая итальянцу. И, следя за каждым своим движением, как бы мысленно сопоставляя и повторяя движения, увиденные в бою, тренер шагнул правой ногой вперед и чуть в сторону, одновременно с поворотом туловища перенося вес тела на правую ногу, и нанес снизу вверх длинный крючкообразный удар, тот самый апперкот, который помог итальянцу добиться убедительной победы и выйти в полуфинал.

— Ахтунг! Внимание! Смотри, еще раз покажу.

Миклашевский уже был другим. Внимательным и сосредоточенным. Зорко следил за каждым движением тренера.

Тот медленно повторил движение тела и удар. Игорь чуть улыбнулся: знакомый! В институте физкультуры в Москве еще до войны разучивал этот самый удар на тренировках, вернее, на учебных занятиях в тренировочном зале. Константин Васильевич Градополов, которого уважительно называли профессором ринга, гонял до седьмого пота, требуя слитности, непрерывности при движении вперед и нанесении удара. И тогда этот

самый апперкот получал взрывную силу. У Миклашевского он выходил неплохо, однако в боевых действиях на ринге Игорь применял его весьма редко. И не только из-за сложности, а, скорее, из-за рискованности: боксер слишком открывался для соперника. Иными словами, эта комбинация таила в себе и опасность: можно было мгновенно схватить ответного леща, хлесткого бокового в голову, которую невольно открываешь.

Миклашевский вспомнил и свой последний поединок перед самой войной на первенство Ленинграда. Иван Запорожский, чемпион Балтийского флота, тогда хлестко бил этим самым апперкотом, кажется, тоже с шагом вперед и переносом веса тела. Давно это было, так давно, что даже не верится, что было. И Игорь поймал его на ударе, опередил на какую-то сотую долю секунды. В последнем, третьем, раунде. Опредил коротким, без замаха, своим встречным. Неужели и итальянец своей манерой боксировать чем-то похож на балтийца?

— Я думаю, что надо сначала защищаться вот так. — Бунцоль показал, как надо раскрытой перчаткой ловить апперкот, защищая свой живот, оберегая солнечное сплетение, и повелел: — Давай попробуем. — Он старался говорить медленно, чтобы ученик лучше понимал его: этот русский оказался способным и к языкам!

Карл Бунцоль атаковал, медленно нанося удар, а Миклашевский защищался, подставляя раскрытую ладонь, схваченную бинтами, которые он еще не успел снять после боя.

— Гут! Карошо!

Карл Бунцоль словно забыл о возрасте, молодо прыгал, вернее, скользил на носочках вокруг Миклашевского, непрерывно нанося атакующий удар снизу. Седые волосы растрепались, в глазах растаяли льдинки, появилась теплота. Убедившись, что у Миклашевского хорошо

получается защита, он доверительно показал еще один вариант нейтрализации опасного апперкота, чисто профессиональный: надо под удар подставлять не раскрытую перчатку, а выставленный, словно пика, локоть.

— Давай, ты атакуй, а я покажу, как работать локтем.

Игорю не надо было объяснять дважды. Он сразу понял, какую коварную особенность, хотя внешне и вполне законную, допустимую правилами, таит в себе такая «защита». Точно подставленный острый локоть — надо уметь поймать летящий удар на острие угла! — почти стопроцентная гарантия того, что кисть соперника, вернее, его рука, до конца поединка выйдет из строя. В профессиональном боксе все приемы хороши, если они ведут к победе. А Бунцоль, сам в прошлом неплохой боксер, хорошо знал тонкости профессионального спорта, охотно раскрывал их секреты русскому. «Самому бы не попасться на такую защиту, — подумал Миклашевский, работая локтем, — а то нарвешься, как на мину, и пиши пропало».

— Зер гут, — похвалил Бунцоль, — утром отработаем на мешке.

За окном синел поздний январский вечер. Еще один день вычеркнут из жизни. «Бесполезный день». А такими «бесполезными» считал он каждый прожитый день, который не приносил пользу его воюющей родине, не помогал одолевать врага. Почти год дела шли хорошо, относительно хорошо, как оценивал сам Миклашевский, потому что роль, отведенную ему, не очень-то можно считать активной. Скорее наоборот. «Можно было меня и не вытаскивать с фронта, можно было бы послать и женщину, знающую язык», — думал он иногда с огорчением.

Осенью и такая «работка» кончилась. Где-то оборвалась связующая нить. Миклашевский оказался предо-

ставленным самому себе. А тут еще и боксерские турниры навалились. Сначала в Пруссии, а теперь здесь, в Лейпциге. Чуть ли не чемпионат Европы. Было видно, что потери на Восточном фронте, гигантские поражения и крупные отступления гитлеровцы пытаются как-то умалить, затушевать в глазах своих сограждан шумными спортивными мероприятиями. О них передавали по радио, много писали газеты. Но они мало кого вводили в заблуждение. Германия как-то сразу притихла, ожидая неминуемой расплаты, которая огненной волной двигалась с востока.

2

Лиза Миклашевская сидела на табурете возле детской кроватки и плакала, опустив руки на колени. Плакала от своего бессилия и беспомощности. Она не знала, что ей еще сделать, как помочь Андрюшке. Сын метался в жару. Сбрасывал одеяло, что-то бессвязно бормотал, просил пить...

Лиза еще с вечера, когда спешила домой по заснеженной улице, сердцем почуяла беду. Она возвращалась поздно, усталая, еле передвигала ноги. Холодный колючий ветер качал ее, как былинку. После обеда их, конторщиц, снова, как и вчера, «бросили на погрузку». Пришли вагоны, много вагонов, и бригады грузчиц не в силах были перетаскать тяжелые ящики со снарядами и уложить их... А мороз за двадцать, да еще ветер...

Открыв калитку, Лиза ахнула. У порога, возле запертых дверей, приткнувшись к косяку, словно нахохленный воробей, коченел Андрюшка.

— Ой, что же это? Как же так? — всплеснула руками Лиза, подбегая к сыну. — Ты почему здесь, а не у бабы Кати?

— Уш-шел... уш-шел я. — Андрюшка не мог унять дрожь, прижимался к матери. — Уш-шел, и-и все...

Баба Катя — соседка, низенькая, худенькая, ей восьмой десяток идет, но она еще и подвижная, только в последнее время заметно сдавать стала, после того дня, как пришла похоронка на единственного сына, на Николая. Сноха на завод устроилась, Марфа Харитоновна в свою бригаду взяла. А за внуками она, баба Катя, присматривает. Двое школьников, а третий, Васька, чуть-чуть старше Андрюшки, Лиза Миклашевская и договорилась с бабой Катей, чтобы она и за Андрюшкой приглядывала. И вот, на тебе, такое случилось...

— Да как же ты ушел, а? — Лиза ввела Андрюшку в дом, стала стягивать с него варежки, развязывать заледенелый шарф. — Ну, что молчишь?

Андрюшка сопел, стягивая пальто.

— Мы с ним рассорились...

— А может, и подрались? — допытывалась мать, оглядывая лицо сына.

— И подрались тоже.

— Ой, горе ты мое, горе горькое! — вздохнула Лиза, растирая шарфом окоченевшие руки и щеки Андрюшки. — Что ж вы не поделили?

— Он у меня карандаш сломал, — всхлипывая, рассказал Андрюшка, — который с одной стороны синий, а с другой красный...

Лиза слушала сына, а сама думала о том, что скорее надо печь затопить, а то в доме выстужено, и похлебку сварить: до смерти есть хочется, и еще постирать бы успеть хоть немного, хоть Андрюшкины рубашки. И тут она, раздевая сына, обнаружила, что штаны его мокрые, обледенелые чуть ли не до пояса, в валенках сплошная сырость.

— Когда ж ты успел, а? В снегу валялся, что ли?

— Не, ма!.. Я на горке катался, на рогоже.

Она знала, что значит «кататься на рогоже». Это почти одно и то же, что и ни на чем.

— Что ж ты, горе мое, санки не взял?

— Мы ж с Васькой рассорились, я и не хотел возвращаться, — признался Андрюшка.

— А что штаны до дыр протрешь, ты не подумал? Где я тебе новые возьму, а?

— Папка с фронта привезет, — серьезно ответил Андрюшка.

— А ты соскучился по папке? — тихо спросила Лиза, прощая сыну все.

— Давно, очень соскучился!

— И я тоже... Давно и очень, очень...

Лиза обняла Андрюшку, прижала его к себе, замерла. Когда же они свидятся, когда? Сухость перехватила горло, она вытерла рукой набежавшую слезу. Хоть письмецо бы, хоть весточку подал. Ни слуху ни духу. С тех летних радостных дней, когда приходил капитан с подарками и краткой телеграммой, прошло больше года. Ей все так же выдавали паек и деньги по его аттестату. «Значит, живой. Значит, воюет где-то в тылу, партизанит. А я тут изнываю, изболелась вся в тоске и неизвестности. Милый мой, родной и единственный! Как тяжело без тебя, как скучно и тяжело жить, хотя кругом хорошие уральские люди, приютившие нас, эвакуированных. Скорее бы добились проклятых фашистских, да домой вернуться, в столицу-матушку. В комнату свою, где и отопление паровое, и вода из крана, носить из колодца не надо».

Сырые дрова разгорались плохо, печь дымила. Лиза дула на слабый огонь, глотая прогорклый угар, слезы сами текли из глаз, оставляя на щеке влажные следы. А она сама — как заведенная, и откуда только силы брались. Вскоре и печь полыхала, и Андрюшкина одежда

сушилась, и в кастрюльке булькала похлебка, и вода для стирки грелась.

Лиза перевела дух, взглянула на часы, довольная, скупко улыбнулась: она быстро управилась. Теперь Андрюшку накормить да уложить надо, на скорую руку простирнуть, и сама может завалиться в постель, которая тянет к себе, как магнитная. Наступит ли такое счастливое время, когда сможет выспаться вволю?.. Мечтательно вздохнула. Будет, конечно, только верится с трудом. И вдруг насторожилась: что-то Андрюшка ее притих?

Сын устроился на табурете, прислонившись спиной к печке. Был он какой-то странно вялый, глаза потухшие, а щеки необычно пунцовые, словно их снегом натерли. Вдруг Лиза услышала слабый голос Андрюшки:

— Ма, дай пальто, а то мне холодно... Мне холодно...

Лиза как взглянула на него, так и обмерла. У нее где-то внутри полыхнуло обжигающим холодом. Она все поняла и на какое-то мгновение даже растерялась. Заболел! Схватил простуду! Только этого им сейчас не хватало.

— Холодно, ма... Холодно. Укрой меня...

Лиза приложила ладонь ко лбу сына. Лоб полыхал жаром. Сунула градусник под мышку и не поверила своим глазам — тридцать девять с половиной.

— Так я и знала! Так я и знала, — горестно произнесла Лиза, торопливо вытаскивая ящик комода и разыскивая там в коробочках остатки припасенных лекарств. — Добром это не кончится...

Она сунула Андрюшке в рот горькие таблетки, заставила пить горячий, обжигающий чай. Потом уложила в кровать, укутала одеялом.

— Спи теперь. Закрой глазки и усни, миленький мой, да поскорее.

К полуночи Андрюшке стало совсем плохо. Он метался в жару, бредил. А Лиза растерялась. Она оказалась бессильной помочь сыну. Ни лекарства, ни компрессы, обычные испытанные домашние средства, не помогали. Она не знала, что ей делать. Лиза опустила на табурет возле кровати сына и горестно заплакала... Сначала тихонько, сдерживаясь, а потом уже в полный голос:

— Когда же кончатся мучения наши... Когда-а?!..

3

Марфа Харитоновна пришла ночью. Загрузили все вагоны, отправили на фронт «гостинцы» для фашистов. Потом забежала она на часок к сыну своему Федору, который с осени после шумной и скромной по застолью свадьбы жил у Антонины. Мать ее поболела и померла, получив похоронную на своего мужа. Брат пропал без вести. Федор и переселился к жене. Только и дома он почти не бывает, сутками не выходит с завода. В сборочном цехе он, на главном конвейере, где танки собирают. И Антонину из материнской бригады увел, теперь она вместе с Федором в том же сборочном трудится. Вот Марфа Харитоновна после своей смены забегает к невестке в пустой дом, протопит печку, сварит чего-нибудь и сама заодно поест. Так было и сегодня.

— Что это у нас за концерт московских артистов-солистов? — спросила она, стаскивая с головы мужскую шапку-ушанку и развязывая платок.

Лиза не унималась. С глухими рыданиями она пошла навстречу и уткнулась в грудь Марфы Харитоновны, в ее холодный стеганый ватник, густо пропитанный машинным маслом и железной окалиной.

Марфа Харитоновна по-матерински обняла ее, провела ладонью по волосам:

— Ну, будя, будя... Угомонись, дочка...

Потом, словно ее резанули под сердце, Марфа Харитоновна сразу насторожилась, подобралась. Предчувствуя недоброе, она взяла своими огрубевшими мозолистыми руками Лизу за щеки, подняла голову, заглянула в глаза:

— Неуж и ты получила... С черной меткой бумагу?..

Лиза отрицательно замотала головой, продолжая всхлипывать. У Марфы Харитоновны отлегло от сердца. «Живой, значит, муж ейный». Она продолжала держать лицо Лизы в своих ладонях.

— Так что ж приключилось, скажи, не мучь слезами?

Лиза указала на кровать сына:

— Андрюшка... Горит весь...

— Дык что ж ты раскисла, язвы тебя в душу и печенки? — Марфа Харитоновна посуровела, оттолкнула Лизу, прикрикнула на нее: — Что ж ты панику распускаешь? Ччас же прекратить мокрый концерт, говорю я тебе!

— Врача... Врача надо срочно...

— Мы и сами кой-чиво умеем, — ответила Марфа Харитоновна, стаскивая с ног латаные валенки.

Она подошла к кровати, наклонилась к Андрюше. Лиза замерла в ожидании.

— Не нравится мне дыхание, простуду схватил, — сказала авторитетно Марфа Харитоновна. — Надоть помочь парняге.

Марфа Харитоновна взяла лампу, унесла ее с собой. Раскрыла шкаф, задвигала посудой, переставляя флакончики и завязанные в тряпочку засушенные травки, семена, коренья. Она долго искала нужное лекарство, бормоча про себя разные ругательные слова в адрес «приставшей болячки».

— Нашла окаянную, нашла чекушку, думала, совсем запропастилась она. — И обратилась к Лизе: —

Ну что ты застыла? Тарелку давай. Нет, блюдечка хватит. Давай блюдечко.

В комнате резко запахло скипидаром. Смешав его с конопляным маслом, Марфа Харитоновна долго и тщательно натирала Андрюшку. Спину, бока, грудь. И приговаривала:

— Потерпи маленько, счас полегчает... Полегчает... Мы хворь твою выгоним, выгоним...

Марфа Харитоновна выдохлась, умолкла. Укутала детские ноги старой, изъеденной молью пуховой шалью, накрыла поверх одеяла его полушубком. Андрюшка лежал притихший. Вскоре засопел.

— Уснул касатик. Теперича до завтрева будет спать крепко. Федька мой, ишо меньше был, в прорубь угодил. Принесли его мокрого, как курицу. Тож так натерла спинку, и грудку, и ноги. И отошел, через день опять бегал. А Андрюшка твой тож парень крепкий, почти нашенский, уральский.

Марфа Харитоновна устало прислонилась к печной трубе, отогревая спину. Лиза взяла блюдце, в котором еще находилась пахучая смесь.

— А это куда слить?

— Эх, Лизонька, спина у меня заревматизила, прямо дыхнуть не дает, — произнесла виновато Марфа Харитоновна и попросила: — Будь ласкова, потри ее, а то я завтра и не подымусь.

— Конечно, конечно, — охотно согласилась Лиза, не зная, как отблагодарить хозяйку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Позади осталась Плюсса. От нее до Стругов Красных по прямой менее трех десятков километров. Но Григорию Кульге не суждено было штурмовать этот городок. Его обошли с востока, используя проселочные дороги, гати на болотах, нацеливаясь на Псков. Танковый батальон, в котором служил Кульга, был на самом острие клина наших наступающих войск. У него была четко определенная командованием задача: не ввязываться в затяжные бои, а смело врезаться в глубину обороны противника, наводить панику, уничтожать тылы и вести непрерывную разведку.

Танкистам помогали партизаны. Они выделяли опытных проводников, чтобы скрытно, обходя опасные трясины, продвигаться вперед по лесным чащобам. Погода стояла мерзкая. То морозы, то метели, то вдруг наступала весенняя оттепель, снег раскисал, лед терял устойчивость, и танки буквально ползли, утопая по самое днище в месиве снега и грязи. Тылы отставали, доставка горючего и боеприпасов происходила с перебоями.

Так было и сейчас. Батальон расположился в лесу. Столетние сосны стройными красноватыми мачтами тянулись вверх, в небо, держа там зеленые зонты пушистой хвойной кроны. На поляне стоит ель-красавица, за-

вернулась в пуховую снежную шаль. За елью, надвинув снежную шапку по самые окна, приютилась избушка лесника. Война прошла стороной, но и здесь побывали оккупанты. Стекла в окнах выбиты, двери сорваны с петель, имущество разграблено.

Танкисты входили в избу, молча смотрели, стягивали шлемы и, хмурые, возвращались к своим машинам. Галя прижалась к плечу Григория, закусив варешку. Она на фронте видела всякое. Смерть и разрушения. Кровь и слезы. Разлагающиеся трупы и разорванные взрывами куски человеческих тел, раздавленных танками и повешенных. Казалось, что уж ко всему притерпелась...

Здесь, в небольшой горнице, в углу у окна, приютился стол. На нем возвышалась молодая елочка, обвешанная самодельными бумажными игрушками. Вместо деда-мороза стояла полинялая кукла-матрешка с приклеенной ватной бородой. За елкой на тесаных бревнах стены следы автоматных пуль. Стреляли по желтым любительским семейным фотографиям. На полу возле стола — разбросанные, раздавленные сапогами самодельные тряпочные куклы, битая посуда, перевернутая табуретка — все густо обсыпано перьями распотрошенной подушки. У печки, на которой краснели шербатыны от пуль, неловко прислонившись боком, обняв руками ребенка, словно пытаясь его защитить своим телом, скорчившись, застыла нестарая женщина с седыми волосами. На ногах — носки из грубой пестрой шерсти, а сверху — стертые глубокие калоши, подвязанные веревками. Тут же, на полу, немного откатившись, валялся моток такой же шерсти, спицы из ржавой проволоки, воткнутые в начатый детский носок. Голова женщины, повязанная ситцевым линялым платком, вся в кровавых сгустках. Ее, видимо, били прикладами.

Ребенок, истощенный, крохотный, обхватил женщину ручонками и навечно застыл с расширенными от ужаса голубыми глазами и раскрытым ротиком. У него на худенькой спине, на вылинялой клетчатой рубашонке — запекшаяся кровь. Следы автоматных очередей. Полоснули крест-накрест.

— За что же их, Гриша, а? — прошептала побелевшими губами Мингашева.

— Искали, наверное, партизан.

— Каратели, — глухо произнес сержант Илья Щетилин, командир танкового орудия. — Их работка. У-у, га-ады!

Он стоял за спиною у Кульги в расстегнутом потрепанном полушубке, шапка-ушанка сдвинута на затылок, видны светлые, как солома, прямые волосы.

Юстас, бледный как мел, комкал в руках снятую шапку. На его худощавом продолговатом лице легли складки. Угрюмо сдвинулись брови. Слеза скатилась по щеке, оставляя след.

— Как моя... Марите, сестренка младшая... Ее тоже нет уже...

Юстас вытер кулаком глаза, размазав влагу по щеке, длинно вздохнул. Илья Щетилин стянул с головы свою ушанку и, тронув Юстаса за руку, спросил сочувственно:

— Сестренку твою... фрицы?

— Они самые. Бомбили город... Прямое попадание в дом. Ничего не осталось... И мать и сестренка сразу... Даже хоронить нечего было.

Угрюмо смотрели танкисты на женщину и ребенка, на новогоднюю елку с самодельными бумажными игрушками, на простреленные фотографии.

Щетилин в сенцах нашел лопату. Юстас принес свою, с короткой ручкой. Кульга тоже взял лопату. Но

подошедшие танкисты, давно в душе возненавидевшие эту надоевшую за войну работу, отобрали ее у младшего лейтенанта.

— Мы сами, товарищ командир, сами управимся...

Промерзлая земля поддавалась трудно. Щель вырыли не особенно глубокую. Положили женщину и ребенка головами в сторону восхода. Мингашева накрыла их лица детским пальтишком, и танкисты принялись лопатами осторожно кидать землю, словно боясь, что мерзлые комья могут причинить мертвым боль. Невысокий бугорок плашмя прихлопали лопатами, подровняли могилку.

Постояли, обнажив головы.

Где-то вдалеке, за лесом, тихо опускалось к закату неяркое февральское солнце, и по снегу от высоких сосен легли длинные синие тени. Звонко стучал дятел, выбивая бесконечную морзянку, состоящую из одних сплошных точек. Стайка синичек прилетела на ель. А через минуту, чего-то испугавшись, птички шумно вспорхнули, стряхнув с веток снежный водопад. Высоко в небе проплыли двухмоторные пикирующие бомбардировщики с красными звездами на крыльях. Самолеты ушли в сторону заката.

2

Наконец-то из-за поворота проселочной дороги выплыли одна, а за ней еще две грузовые машины. Их сразу узнали. Первым двигался, уверенно урча, побитый, поцарапанный осколками, но все еще сохранявший свой первоначальный франтоватый вид, американский «Форд», подвозивший боеприпасы. А за ним, на дистанции, катили два массивных зеленых новых «Студебеккера», в их объемистых кузовах рядами стояли темные железные бочки с горючим.

— Едут, родимые!

Танкисты сразу повеселели.

У «Студебеккеров» открыли задние борта, поставили широкие доски и стали осторожно, поддерживая с двух сторон, скатывать железные бочки, наполненные соляной кислотой.

А «Форд», лихо лавируя по разбитой танковыми траками дороге, подкатывал к каждой «тридцатьчетверке» и на несколько минут замирал. Старшина Колобродько, пожилой вислоусый запорожец в замызганной ватной стеганке, перепоясанный кожаным командирским ремнем довоенной выделки, со звездой на пряжке, отмечал в своей книжке огрызком химического карандаша, записывая цифры негнушными, задеревеневшими на холоде пальцами и потом отпускал каждому положенный боекомплект. Танкисты сами сгружали ящики со снарядами, пулеметными лентами и патронами для автоматов.

Григорий Кульга, получив свою норму, вскочил на подножку грузовика и, заглянув в кузов, присвистнул. Боеприпасов было много. Значит, надо запастись впрок. И подмигнул снабженцу:

— Жмотничаешь, земляк?

— Та мени ни жалко, товарищ младшой лейтенант! Я ж по норме выдаю, як положено, — равнодушно ответил пожилой запорожец, привыкший к подобным просьбам, и как бы между прочим с уважением подчеркивая новое воинское звание, которое было недавно присвоено Кульге.

— Будь человеком, прибавь еще хоть ящик снарядов!

— Куда ж ще? Бильше ни войде в твою машину, товарищ младшой лейтенант.

— Не твоя, земляк, забота. Для снарядов всегда найдем местечко, — и Кульга добавил многозначно:

тельно: — Надо ж нам, земляк, дорогу пробивать на ридну Украину, чи ни надо?

И артснабженец Колобродько, и командир танка Кульга хорошо знали, что части их ведут наступление далеко не на Украину, а в сторону древнего русского города Пскова, а там наверняка пойдут в Прибалтику. Тут, как говорится, и слепому видно. Но оба понимали, что чем скорее добьются они успеха здесь, на своем участке фронта, тем легче будет в какой-то мере нашим войскам, которые ведут наступательные бои на юге, на Украине.

— Вот ты, Григорий, завсегда так. Все посверх нормы просишь. То горячего подбрось, то снарядов добавь... Прямо с ножом к сердцу пристаешь. Давай, и только! А у мэнэ ж душа не собачья, а чоловичья, хотя и на казенной военной службе, — сказал артснабженец и закончил коротким деловым тоном: — Хай буде по-твоему. Бери, Гриша, да поскорийше.

— Спасибо, батько!

Кульга легко подхватил тяжелый снарядный ящик и передал Илье Щетилину:

— Загружай скорее!

3

Темп наступления нарастал.

Прорвав оборону противника, далеко вклинившись в нее, наши войска продолжали расширять и углублять этот самый клин в направлении Пскова, преодолевая яростное сопротивление гитлеровцев. Танковый батальон капитана Шагина, обходя укрепленные районы, все дальше и дальше забирался в глубь вражеского тыла. Партизаны, хорошо знающие местность, помогали танкистам появляться в самых неожиданных для врагов местах.

...На рассвете танки Шагина внезапно ворвались в небольшую деревеньку. Окруженная с северной стороны полукольцом укреплений, сооруженных из бетона, бревен и земли, она считалась приличным тылом. Здесь, естественно, никак не ожидали появления русских танков, да еще с южной стороны, иными словами, со стороны глубокого тыла, со стороны Пскова, где квартировался не только штаб армии, но и штаб группы армий «Норд».

Еще вчера вечером гитлеровцы чувствовали себя в Цапелке полными хозяевами. Офицеры местного гарнизона шумно отметили день рождения своего начальника, который к тому же получил накануне из рук самого генерал-фельдмаршала боевую награду — Железный крест за успешную борьбу, как сказано в приказе, «с бандитскими бандами партизан», а на самом деле за жестокое обращение с мирным населением, за массовые казни ни в чем не виновных людей, главным образом женщин, стариков и детей. Впрочем, прыщеватый двадцатипятилетний майор не был уж таким тупым и глупым солдафоном, как могло бы показаться. Он действовал с обдуманной жестокостью, стремясь очистить, как потом прочитали в его дневнике, «жизненное пространство от славянских и еврейских элементов для вечного счастливого торжества расы чистокровных арийцев, торжества великой Германской империи».

Но и сам на этом «жизненном пространстве» не смог удержаться.

Партизаны, те самые, за успешную борьбу с которыми он получил Железный крест, ворвались в Цапелку вместе с танкистами. В окна домов, где квартировали гитлеровцы, полетели гранаты. Уцелевшие офицеры рейха выскакивали с поднятыми руками и перекошенными от страха лицами. Влетела граната и в комнату, где спал после попойки прыщеватый майор. Он не слы-

шал, как тонко дзинькнули разбитые стекла. Но взрыв оглушил его и сбросил с теплой кровати. Однако майор уцелел. Его спас дубовый стол. Граната взорвалась под ним, и он, словно щит, и принял на себя все осколки.

Перепуганный насмерть «очиститель жизненного пространства», мгновенно отрезвевший, пулей выскочил на улицу, на вьюжный морозный ветер, босиком и в тонком шелковом нижнем белье, забыв и меховую обувь, и мундир с новым орденом, и личное оружие. Только убежать ему далеко не удалось. Возмездие свершилось. Автоматная очередь настигла его. И майор рухнул лицом вниз, широко раскинув руки.

В пылу атаки никто не обратил внимания на убитого немца, выбежавшего под партизанские пули в нижнем белье. Не один он в тот яростный час нашел смерть под меткими пулями. Их было много. И солдат, и офицеров. А те, что уцелели, тряслись от мороза и жуткого страха, жались к стенам домов с поднятыми руками. Иные цепляли на палки нательные рубахи и размахивали ими наподобие белых флагов.

Все произошло быстро. Пальба прекратилась так же внезапно, как и началась. Только слышались в притихшей Цапелке выкрики команд, стоны раненых да рокот моторов. А через минуту, заслышав русскую речь, из подвалов, из землянок, вырытых на огородах, из ям, в которых еще недавно хранили картофель, из развалин стали выбираться уцелевшие жители. Что тут началось! И слезы, и крики радости, и рвущиеся из сердца слова благодарности...

— Наши пришли! Наши!!

Мальчишки, ошалелые от радости, носились как угорелые, лезли на танки, помогали собирать оружие, сновали среди партизан. Девушки и женщины, уцелевшие от угона в Германию, со слезами на глазах обнимали, целовали бойцов и партизан. Седая женщина в чине-

ных валенках, в старом легком пальтишке, в сбитом набок сером дырявом платке стояла на углу, держась за выступ стены, и осеняла крестным знамением и танкистов, и партизан, и боевые машины, шепча беззубым ртом слова молитвы.

Пленных тем временем группами и в одиночку сгоняли на площадь, где около кирпичного дома, бывшей конторы совхоза, на широкой потемневшей перекладине висели казненные. Их было пятеро. Седой щуплый старик с всклокоченной заледенелой бороденкой, запорошенной снегом, двое пожилых мужчин в промасленных железнодорожных спецовках, молодая рослая, полногрудая женщина и вихрастый мальчишка лет тринадцати. Все были босые, со следами пыток, с кровоподтеками на лицах. У женщины, почти обнаженной, на посинелом замерзшем теле темными длинными рубцами синели следы ударов, а на левой груди виднелись большие широкие раны. Выступившая алая кровь так и застыла темными рубиновыми капельками. У каждого висела на груди фанерка, на которой черными буквами было выведено: «Партизан». Старик и парнишка были свои, местные, а мужчины и девушка — никому не известные, поговаривали, что они разведчики, засланные из осажденного Ленинграда.

Пленные, стараясь не глядеть на казненных, отводили глаза, кучно топтались, жались друг к другу, чтобы хоть немного согреться. Над ними струился чуть заметный пар.

Капитан Шагин, расстелив на броне танка карту, водил по ней пальцем и что-то пояснял командиру партизанского отряда, человеку высокорослому, богатырского сложения, с русой подстриженной бородкой. Тот согласно кивал, а сам все искоса поглядывал на сани, в которые складывали трофейные немецкие винтовки, автоматы, тесаки. Отдельно клали гранаты с длинными